



Когда-то земля, вероятно,  
была раскаленным шаром,  
таким же, как солнце.

*Тарр и Макмерри*

А. Б.

*Поелику Тобой я суц в раю  
(Всегда, везде из чувств моих любое  
И живо, и ведомо лишь тобою),  
Но раму брeнную души мою  
Оставил здесь, то мышцы, жилы, кровь  
Одеть вернуться кости плотью вновь.*

## *К читателю*

*Это — первая книга, и автор писал в ней о том, что теперь ушло и утрачено, но когда-то составляло самую ткань его жизни. А потому, если кто-нибудь из читателей назовет эту книгу «автобиографической», писателю нечего будет возразить — ведь, по его мнению, все сколько-нибудь серьезные литературные произведения всегда автобиографичны, и трудно вообразить более автобиографичную книгу, чем «Путешествия Гулливера».*

*Однако это небольшое предисловие обращено главным образом к тем, с кем автор, возможно, был знаком в период, которому посвящены эти страницы. И этим людям он хотел бы сказать то, что они, как ему кажется, уже знают — что книга эта была написана в наготе и невинности духа и что автор думал только о том, как придать достоверность, жизнь и полнокровие действию и персонажам книги, которую он создавал. Теперь, перед ее опубликованием, он решительно утверждает, что книга эта — вымысел и что он не давал в ней портретов живых людей.*

*Но мы — сумма всех мгновений нашей жизни: все, что есть мы, заключено в них, и ни избежать, ни скрыть этого мы не можем. Если для создания своей книги писатель употребил глину жизни, он только воспользовался тем, чем должны пользоваться все люди, без чего не может обойтись никто. Художественный вымысел — это не факт, но художественный вымысел — это факты, отобранные и понятые во всей их полноте, художественный вымысел — это факты, переработанные и заряженные целью. Доктор Джонсон сказал, что человеку приходится перелистать половину библиотеки, чтобы создать одну книгу, и точно так же романист может перелистать половину жителей города, чтобы создать один персонаж в своем романе. Этим не исчерпывается весь метод, но автор полагает, что и этого достаточно, чтобы дать иллюстрацию ко всему методу создания книги, которая написана со среднего расстояния, без злобы и без обидных намерений.*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

...камень, лист, ненайденная дверь; о камне, о листе, о двери. И о всех забытых лицах.

Нагие и одинокие приходим мы в изгнание. В темной утробе нашей матери мы не знаем ее лица; из тюрьмы ее плоти выходим мы в невыразимую глухую тюрьму мира.

Кто из нас знал своего брата? Кто из нас заглядывал в сердце своего отца? Кто из нас не заперт навеки в тюрьме? Кто из нас не остается навеки чужим и одиноким?

О тщета утраты в пылающих лабиринтах, затерянный среди горящих звезд на этом истомленном негорящем угольке, затерянный! Немо вспоминая, мы ищем великий забытый язык, утраченную тропу на небеса, камень, лист, ненайденную дверь. Где? Когда?

О утраченный и ветром оплаканный призрак, вернись, вернись!

### I

Судьба, которая ведет англичанина к немцам, уже необычна, но судьба, которая ведет из Эпсомы в Пенсильванию, а оттуда в горы, укрывающие Алтамонт, ведет через гордый коралловый крик петуха и кроткую каменную улыбку ангела — эта судь-

ба овейна темным чудом случайности, творящей новое волшебство в пыльном мире.

Каждый из нас — итог бесчисленных сложений, которых он не считал: доведите нас вычитанием до натуры и ночи, и вы увидите, как четыре тысячи лет назад на Крите началась любовь, которая кончилась вчера в Техасе.

Семя нашей гибели даст цветы в пустыне, алексин нашего исцеления растет у горной вершины, и над нашими жизнями тяготеет грязнуха из Джорджии, потому что лондонский карманник избежал виселицы. Каждое мгновение — это плод сорока тысячелетий. Мимолетные дни, жужжа, как мухи, устремляются в небытие, и каждый миг — окно, распахнутое во все времена.

Вот — один такой миг.

Англичанин по имени Гилберт Гонт, или Гант, как он стал называться впоследствии (возможно, это была уступка произношению янки), приплыв в 1837 году на парусном судне в Балтимор из Бристоля, вскоре опрокинул все прибыли купленного им там трактира в свою беззаботную глотку. Он отправился на запад, в сторону Пенсильвании, добывая рискованное пропитание с помощью боевых петухов, которых выставял против местных чемпионов, и нередко еле уносил ноги после ночи, проведенной в деревенской кутузке, — его боец валялся мертвым на поле боя, в его карманах не позвякивало ни единого медяка, а на его беспечной физиономии подчас багровел след дюжего кулака какого-нибудь фермера. Но ему всегда удавалось улизнуть, и когда он в дни жатвы добрался до немцев, его так восхитило богатство их края, что он бросил там якорь. Не прошло и года, как он женился на крепкой румяной вдовушке, хозяйке недурной фермы; она, как и остальные немцы, была покорена его видом бывшего путешественника и витиеватой речью — особенно

6      когда он читал монологи Гамлета в манере ве-

ликого Эдмунда Кина. Все говорили, что ему следовало бы пойти в актеры.

Англичанин стал отцом дочери и четырех сыновей, жил весело и беззаботно и терпеливо сносил бремя суровых, но справедливых попреков своей супруги. Шли годы, его ясные, пристальные глаза потускнели, под ними вздулись мешки; теперь высокий англичанин подагрически волочил ноги, и как-то утром, когда жена явилась выбрать его за то, что он, по обыкновению, заспался, она обнаружила, что он умер от апоплексического удара. После него осталось пять детей, закладная на ферму и — в его странных темных глазах, снова ясных и пристально смотрящих вдаль, — что-то, что не умерло: неутолимая и смутная жажда путешествий.

Тут мы оставим этого англичанина с его наследством и теперь будем заниматься тем, кому он его завещал, — его вторым сыном, мальчиком по имени Оливер. Было бы слишком долго рассказывать, как этот мальчик стоял у дороги вблизи материнской фермы и провожал взглядом пыльные полки мятежников, уходившие к Геттисбергу, как потемнели его холодные глаза, когда он услышал гордое слово «Виргиния», как в год окончания войны, когда ему еще было пятнадцать лет, он шел по улице в Балтиморе и увидел в маленькой лавке гладкие гранитные плиты смерти, вырезанных из камня агнцев и херувимов и ангела, застывшего на холодных немощных ногах с улыбкой кроткого каменного идиотизма. Но я знаю, что его холодные, неглубокие глаза темнели от той же смутной и неутолимой жажды, которая жила в глазах мертвеца и когда-то вела его с Фенчерч-стрит мимо Филадельфии. Мальчик глядел на большого ангела, сжимающего резной стебель лилии, и им овладевало холодное безымянное волнение. Длинные пальцы его больших рук сжались в кулаки. Он почувствовал, что больше всего на свете хочет ваять. Он хотел вогнать в холодный камень

то темное и неназываемое, что жило в нем. Он хотел изваять голову ангела.

Оливер вошел в лавку и спросил у широкоплечего бородача с деревянным молотком в руке, нет ли для него тут работы. Он стал подмастерьем резчика по камню. Он проработал в этом пыльном дворе пять лет. Он стал резчиком по камню. Когда годы его ученичества кончились, он был уже мужчиной.

Он так и не обрел того, чего искал. Он так и не изваял голову ангела. Голубку, агнца, сложенные в покое смерти мраморные руки и буквы, тонкие и изящные, — все это он умел. Но не ангела. И все годы тщеты и утрат — буйные годы в Балтиморе, годы труда, яростного пьянства и театра Бута и Сальвини, губительно влиявшего на резчика по камню, который запоминал все переливы благородной декламации и шагал по улицам, бормоча и быстро жестикулируя огромными красноречивыми руками, — все это слепые блуждания на ощупь в нашем изгнании, закрашивание нашей жажды, когда, немо вспоминая, мы ищем великий забытый язык, утерянную тропу на небеса, камень, лист, дверь. Где? Когда?

Он так и не обрел того, чего искал, и, шатаясь, пошел через континент на Реконструируемый Юг — странная дикая фигура в шесть футов четыре дюйма ростом, холодные, тревожные глаза, широкая лопасть носа, раскаты пышной риторики и нелепое, комическое проклятье, формально-условное, точно классические эпитеты, которые он пускал в ход совершенно серьезно, хотя в уголках его узкого стонущего рта пряталась неловкая усмешка.

Он открыл мастерскую в Сиднее, маленькой столице одного из штатов среднего Юга, вел трудовую и трезвую жизнь под взыскательными взглядами людей, еще не оправившихся от поражения и ненависти, и наконец завоевав себе доброе имя и до-

бившись, что его признали своим, женился на тощей чахоточной старой деве, которая была старше его на десять лет, но сохранила кое-какое состояние и неукротимое желание выйти замуж. Через полтора года он вновь превратился в буйного сумасшедшего, его маленькое дело лопнуло, а Синтия, его жена, продлению жизни которой, как утверждали соседи, он отнюдь не способствовал, как-то ночью внезапно умерла после сильного легочного кровотечения.

Так все снова исчезло — Синтия, мастерская, купленное дорогой ценой трезвости уважение, голова ангела; он бродил по улицам в темноте, выкрикивая пентаметры своего проклятия, обличая обычаи мятежников и их праздную лень; однако, томимый страхом, горем утраты и раскаянием, он съезился под негодующим взглядом городка; и по мере того, как его огромное тело все больше худело, он проникался убеждением, что болезнь, убившая Синтию, теперь вершит месть над ним.

Ему было немногим больше тридцати, но выглядел он гораздо старше. Лицо его было желтым, щеки запали; восковая лопасть носа походила на клюв. Длинные каштановые усы свисали прямо и печально.

Чудовищные запои разрушили его здоровье. Он был худ, как жердь, и постоянно кашлял. Теперь в одиночестве враждебного городка он думал о Синтии, и в нем рос страх. Он думал, что у него туберкулез и он скоро умрет.

Вот так, совсем один, опять все потеряв, не утвердившись в мире, не обретя в нем места, утратив почву под ногами, Оливер возобновил свои бесцельные скитания по континенту. Он повернул на запад, к величественной крепости гор, зная, что по ту их сторону его дурная слава никому не известна, и надеясь найти там уединение, новую жизнь и прежнее здоровье.

Глаза тощего призрака снова потемнели, как когда-то в дни его юности.



Весь день Оливер под серым мокрым октябрьским небом ехал на запад через огромный штат. Он уныло глядел в окно на бесконечные просторы дикой земли, лишь кое-где испещренной заплатками крохотных полей крохотных жалких ферм, и его сердце наливалось холодным свинцом. Он вспоминал огромные пенсильванские амбары, клонящееся золото налитых колосьев, изобилие, порядок, чистенькую бережливость тамошних людей. И он вспоминал, как сам отправился в путь, чтобы найти порядок и прочное положение для себя, — и думал о буйной путанице своей жизни, о неясном смешении прожитых лет и о багряной пустыне своей юности.

«Черт побери! — думал он. — Я старею. Почему здесь?»

В его мозгу разворачивался угрюмый парад призрачных лет. Внезапно он понял, что его жизнь определил ряд случайностей: сумасшедший мятежник, распевавший об Армагеддоне, звук трубы на дороге, топот армейских мулов, глупое белое лицо ангела в пыльной лавке, зазывное покачивание бедер проходившей мимо проститутки. Он, шатаясь, ушел от тепла и обилия в этот бесплодный край, и пока он смотрел в окно и видел необработанную целину, крутой суровый подъем Пидмонта, размокшую глину рыжих дорог и неопрятных людей на станциях, глазающих на поезд, — худого фермера, покачивающегося над поводьями, зеваку-негра, щербатого парня, хмурую болезненную женщину с чумазым младенцем, — загадочность судьбы поразила его ужасом. Как попал он сюда, как сменил чистенькую немецкую бережливость своей юности на эту огромную, пропащую, рахитичную землю?

Поезд, громыхая, катил над дымящейся землей. Не переставая, шел дождь. В грязный плюшевый вагон вошел со сквозняком кондуктор и высыпал совок  
10 угля в большую печку в дальнем углу. Визгли-

вый, бессмысленный смех сотрясал компанию парней, растянувшихся на двух обращенных друг к другу диванчиках. Над клацающими колесами печально позванивал колокол. Потом было долгое жужжащее ожидание на узловой станции вблизи предгорий. Затем поезд снова покотился через огромные волнистые просторы.

Наступили сумерки. Туманно возникла тяжелая громада гор. В хижинах по склонам загорались тусклые огоньки. Поезд, подрагивая, проползал по высоким виадукам, переброшенным через серебристые тросы воды. Далеко вверху, далеко внизу по обрывам, откосам и склонам лепились игрушечные хижины, увенчанные перышками дыма. Поезд, упорно трудясь, гибко пробирался вверх по рыжим выемкам. Когда совсем стемнело, Оливер сошел в маленьком городке Олд-Стокейд, где рельсы кончались. Прямо над ним вставала последняя великая стена гор. Когда Оливер вышел из унылого станционного здания и уставился на масляный свет ламп в деревенской лавке, он почувствовал, что, словно могучий зверь, заполз в кольцо этих гигантских пиков, чтобы умереть.

На следующее утро он отправился дальше в дилижансе. Он ехал в городок Алтамонт, который лежал в двадцати четырех милях отсюда за гребнем великой внешней стены гор. Пока лошади медленно тащились вверх по горной дороге, Оливер немного воспрянул духом. Был серо-золотой день на исходе октября, ясный и ветренный. Горный воздух покусывал и сверкал; над головой плыл кряж — близкий, колоссальный, чистый и бесплодный. Деревья раскидывали тощие голые ветки — на них уже почти не осталось листьев. Небо переполняли мчащиеся белые клочья облаков, под отрогом медленно плескалась полоса густого тумана.

Прямо внизу по каменистому ложу клубился горный поток, и Оливер разглядел крохотные фигурки людей, прокладывавших дорогу, которой

предстояло спиралью обвить гору и подняться к Алтамонту. Затем взмыленная упряжка свернула в ущелье, и среди величественных пиков, растворяющихся в лиловой дымке, они начали медленно спускаться к высокому плато, на котором был построен город Алтамонт.

Среди торжественной извечности этих гор, в обрамлении их гигантской чаши он нашел раскинувшийся на сотне холмов и седловин город с четырьмя тысячами жителей.

Это были новые края. И на сердце у него стало легко.

Город Алтамонт возник вскоре после Войны за независимость. Это была удобная стоянка для погонщиков скота и фермеров на их пути на восток, из Теннесси в Южную Каролину. А в течение нескольких десятилетий перед Гражданской войной туда съезжалась на лето фешенебельная публика из Чарлстона и с плантаций жаркого Юга. К тому времени, когда туда добрался Оливер, Алтамонт приобрел некоторую известность не только как летний курорт, но и как местность, целебная для больных туберкулезом. Несколько богатых северян построили в окрестных горах охотничьи домики; а один из них купил там огромный участок и с помощью армии импортированных архитекторов, плотников и каменщиков намеревался возвести на нем самый большой загородный дом во всей Америке — нечто из известняка с крутыми шиферными крышами и ста восемьюдесятью тремя комнатами. За образец был взят замок в Блуа. Тогда же была построена и колоссальная новая гостиница — пышный деревянный сарай, удобно раскинувшийся на вершине холма, с которого открывался прекрасный вид.

Однако население Алтамонта в основном все еще составляли местные жители, и пополнялось оно обитателями гор и близлежащих ферм. Это

были горцы шотландско-ирландского происхождения — закаленные, провинциальные, неглупые и трудолюбивые.

У Оливера было около тысячи двухсот долларов — все, что осталось от имущества Синтии. На зиму он снял сарай в дальнем конце главной площади городка, купил несколько кусков мрамора и открыл мастерскую. Однако вначале у него почти не было никакого другого занятия, кроме размышлений о близкой смерти. В течение тяжелой и одинокой зимы, пока он думал, что умирает, тощий, похожий на огородное пугало янки, который, что-то бормоча, мелькал на улицах городка, стал излюбленным предметом пересудов. Все его соседи по пансиону знали, что по ночам он меряет свою спальню шагами запертого зверя и что на его тонких губах непрерывно дрожит тихий долгий стон, словно вырывающийся из самого его нутра. Но он ни с кем об этом не разговаривал.

А потом пришла чудесная горная весна — зелено-золотая, с недолгими порывистыми ветрами, с волшебством и ароматом цветов, с теплыми волнами запаха бальзамической сосны. Тяжкая рана Оливера начала заживать. Вновь зазвучал его голос, порой опять ало вспыхивала его былая алая риторика, возрождалась тень его бывшего жизнелюбия.

Как-то в апреле, когда Оливер, весь пробужденный, стоял перед своей мастерской и следил за суетливой жизнью площади, он услышал позади себя голос какого-то прохожего. И этот голос, глуховатый, тягучий, самодовольный, внезапно осветил картину, которая двадцать лет безжизненно хранилась в его мозгу.

— Он близится! По моим расчетам, быть ему одиннадцатого июня тысяча восемьсот восемьдесят шестого года.

Оливер обернулся и увидел удаляющуюся дюжую и убедительную фигуру пророка, кото-

рого он в последний раз видел уходящим по пыльной дороге к Геттисбергу и Армагеддону.

— Кто это? — спросил он у человека, стоявшего неподалеку.

Тот посмотрел и ухмыльнулся.

— Это Бахус Пентленд, — сказал он. — Чудак, каких поискать. У него тут полно родни.

Оливер лизнул огромную подушечку большого пальца. Потом с узкогубой усмешкой сказал:

— Армагеддон уже настал, а?

— Он ждет его со дня на день, — ответил его собеседник.

Потом Оливер познакомился с Элизой. Как-то в ясный весенний день он лежал на скользком кожаном диване в своей маленькой конторе и прислушивался к веселому щебету площади. Его крупное разметавшееся тело обволакивал целительный покой. Он думал о черноземных пластах земли, внезапно загорающейся юными огоньками цветов, о пенистой прохладе пива и об облетающих лепестках цветущих слив. Затем он услышал энергичный стук каблучков женщины, проходящей между глыбами мрамора, и поспешно поднялся с дивана. Когда она вошла, он уже почти надел свой отлично вычищенный сюртук из тяжелого черного сукна.

— Знаете ли, — сказала Элиза, поджимая губы с шутливым упреком, — я очень жалею, что я не мужчина и не могу валяться весь день напролет на мягком диване.

— Добрый день, сударыня, — сказал Оливер с изысканным поклоном. — Да, — продолжал он, и легкая лукавая усмешка изогнула уголки его узкого рта, — я и правда вздремнул. На самом-то деле я редко когда сплю днем, но последний год мое здоровье совсем

расстроилось, и я уже не могу работать, как прежде. — Он умолк, и лицо его сморщилось

в выражении унылого отчаяния. — О господи! Прямо не знаю, что со мной будет.

— Пф! — энергично и презрительно сказала Элиза. — На мой взгляд, вы совсем здоровы. Настоящий силач в самом расцвете лет. А это все воображение. Да в половине случаев, когда мы думаем, что больны, — это только воображение, и ничего больше. Я помню, как три года назад я заболела воспалением легких, когда была учительницей в поселке Хомини. Все думали, что мне не выжить, но я все-таки выкарабкалась; вот, помню, сидела я в постели — выздоравливающая, как говорится; а помню я это потому, что старый доктор Флетчер только что ушел, а когда он выходил, я видела, как он покачал головой, глядя на мою двоюродную сестру Салли. «Да как же это, Элиза, — сказала она, едва он вышел, — он говорит, что ты кашляешь кровью: у тебя чахотка, это ясно, как день». «Пф!» — отвечаю я и, помню, рассмеялась, потому что твердо решила считать все это шуткой; а про себя я подумала: не поддамся и всех их еще оставлю в дураках. «Не верю, — говорю я. Она встряхнула головой и поджала губы. — А к тому же, Салли, — говорю я, — все мы когда-нибудь там будем, так что нечего беспокоиться! Это может случиться завтра, а может попозже, да ведь когда-нибудь случится же!»

— О господи! — сказал Оливер, грустно покачивая головой. — Тут вы попали в самую точку. Лучше не скажешь. «Боже милосердный, — подумал он с полной муки внутренней усмешкой. — И долго еще это будет продолжаться? Но она красотка, что верно, то верно».

Он одобрительно оглядел ее подтянутую стройную фигуру, заметил ее молочно-белую кожу, темно-карие глаза, смотревшие как-то по-детски, и иссиня-черные волосы, которые были зачесаны кверху, открывая высокий белый лоб. У нее была странная привычка поджимать губы перед тем, как что-нибудь сказать; она любила говорить неторопливо и переходила